В трактире «Не грусти — развеселю», несмотря на сумрачность и грязь, в этот вечер поздней осени, когда на дворе беспрерывно моросит дождь, а сырой и холодный ветер пронизывает до костей,— хорошо и уютно. Народу не так много, сравнительно тихо, хотя в деловой разговор то и дело врываются пьяные голоса, звон посуды, призывающий к столам прислугу, щёлканье на буфете счётной кассы. По временам заводят граммофон, старый, полинявший, с большой красной трубой. Он играет сносно, но вдруг сорвётся и, словно чем-то подавившись, зарычит режущим ухо голосом.

Большой зал освещён электрическими люстрами. Вдоль стен и по углам, точно прячась от людского взора, сидят каменщики, ломовики, чернорабочие — народ плохо одетый, заскорузлый, но плотный и сильный. Они глотают водку большими стаканами, не торопясь закусывают потрохами и ржавой селёдкой, чай спивают добела. Разговор их медлительный, лица хмурые, взгляд тяжёлый. Ближе к

буфету жмутся дворники, швейцары, городовые, за честь считающие потолковать с буфетчиком. Посредине — подрядчики и торговцы. Эти говорят степенно и важно, слов на ветер не бросают, и только те, что помоложе, держатся бойчее. К ним более внимательно, чем к другим посетителям, относятся половые.

В трактир входит мужчина, опираясь одной рукой на костыль, а другой на плечо женщины. Он лет тридцати, худой и жилистый, во флотской фуражке и поношенном пиджаке, с Георгиевским крестом на груди. Ноги его согнуты, трясутся и беспокойно шаркают по полу, точно нащупывая место, чтобы утвердиться. Она моложе его, но и на её бескровном лице, с заострившимся носом и строго поджатыми сухими губами, отпечаток нужды и горя. Покрыта ситцевым платком, в мужских сапогах и просторной ватной поддёвке, сквозь которую сильно выпячивается беременный живот. Оба мокрые от дождя, прозябшие.

Окинув усталым взглядом трактир, вошедший обратился к буфетчику:

— Позвольте бывшему матросу повеселить публику.

Буфетчик, сощурившись, оглядел пришельцев с ног до головы, отсчитал кому-то сдачи и наконец спросил у матроса:

— Раненый, что ли, будешь?

— Да.

— Где сражался?

— При Цусиме.

— Так... А это жена твоя?

— Подвенечная...

Получив разрешение, матрос достаёт из-за плеча большой деревянный футляр, вынимает из него венскую двухрядную гармонику и садится на стул, а жена становится рядом. Перебирает лады, пробуя голоса. Потом играет какой-то марш.

В трактире сразу замолчали. Сошлись люди из других комнат. Все смотрят на матроса, а он, склонившись левым ухом над гармоникой, словно прислушиваясь к ней, растягивает меха во всю ширину рук. И несутся, потрясая воздух,

стройные звуки, кружатся, как в вихре, звонко заливаются, буйные аккорды сменяются весёлой трелью.

— Браво, моряк! Молодец!..— дружным одобрением отозвался «Не грусти — развеселю», когда замолкла гармоника.

Какой-то длинноволосый человек в монашеском костюме подносит матросу рюмку водки, а сам держит другую, приговаривая нараспев:

— Возвеселимся, пьяницы, о склянице и да уповаем на вино...

— Очистим чувствие и узрим дно,— по-церковному отвечает матрос, выпивая.

Он оживает, ерошит чёрные волосы и смотрит на людей немного насмешливо, не то собираясь ещё чем-то удивить их, не то радуясь, что добился внимания к себе.

Снова грянула гармоника, дружно понеслись, заливаясь в пьяном, дымном воздухе, мелодично-шумливые звуки, а за ними, словно стараясь догнать их, с торжественной медлительностью покатился бас матроса:

Нутко, молодцы лихие,
Песню дружно запоём...

Выждав момент, радостно взвился женский подголосок:

Мы матросы удалые,
Нам всё в мире нипочём...

Зала насторожилась, по лицам пробежала лёгкая струйка удовольствия. Застыли в напряжённом внимании. Какой-то подрядчик, начавший было рассчитываться, так и остался с раскрытым ртом и бумажником. К его столу придвинулись два печника и усиленно вытянули к певцам жёлтые шеи. Замерли «шестёрки» в белых ситцевых штанах и рубашках.

А матрос, набирая в грудь воздух, поёт:

Дудки хором загудели,
И пошёл вовсю аврал...

Присоединяясь к нему, жена бойко-певуче выкрикивает:

Мачты, стеньги заскрипели,
Задымился марса-фал...

По окончании песни во всех углах раздаются рукоплескания, крики одобрения.

Женщина взяла флотскую фуражку, обходит публику, низко кланяясь каждому, кто бросает ей монету.

Матроса угощают водкой, колбасой, жмут ему руки.

— Молодчага!.. Спасибо!.. Дербани ещё одну!..

Жена возвращается и, спрятав в карман выручку, просит:

— Не пей, Андрюша, пойдём.

— Я только чуточку, Даша, ей-богу...

— Нет, насчёт музыки ты горазд,— выражает похвалу матросу лесопромышленник, крутя пальцами острую бородку.— И поёшь здорово. Тонко знаешь своё дело...

Матрос улыбается.

— Любил я её с малолетства, музыку-то... Как, бывало, услышу где — сам не свой. И голос у меня был. А вот после войны ослаб.

— Какой ослаб! Хоть сейчас к архиерею в протодиаконы...

Пучеглазый купец с красным, как голландский сыр, лицом пристаёт к матросу:

— Спой, брат, ты для меня ещё флотскую, со слезой спой... Такую, знаешь ли, чтобы за самое нутро хватила! Красненькой не пожалею...

Он суёт матросу десятирублёвую бумажку.

— Хорошо,— соглашается тот.

Шепнув что-то жене, которая, сложив на большом животе руки, стоит с опущенной головой, матрос снова разводит гармонику, быстро перебирая лады. И вдруг, тряхнув головою, протяжно запевает:

Закипела в море пена,
Будет ветру перемена...

Жена, встрепенувшись, подхватывает подголоском:

Братцы! ой, перемена-а-а...

В пении чувствуется большой навык, в музыке — уменье. Гудят и рокочут басы, грустно журчат миноры, испуганно заливаются альты и дисканта, сливаясь в бурный каскад звуков, а в нём, то утопая, то поднимаясь, плавают два человеческих голоса, качаясь, точно на волнах моря.

Матрос, оставив свою подругу на высокой ноте, продолжает:

Зыбь за зыбью часто ходит,
Чуть корабль наш не потопит!..

Он стал неузнаваем. Голова, со спустившимися на лоб вихрами, покачивается в такт переходам голоса, широко раскрытый рот искривлён, брови сдвинуты, а тёмные глаза, загоревшись вдохновением, смотрят куда-то мимо людей. И во всей его фигуре, напряжённой и сосредоточенной, теперь чувствуется молодецкая удаль, отвага, точно он, как в былые годы, снова видит перед собою бушующее море, разверстые бездны, слышит оглушительный шум грозной бури.

Жене трудно петь: она надрывается, залитая нездоровым румянцем.

В зале никто не шелохнётся. С вытянутыми шеями, серьёзные, сидят девицы, подсмеивавшиеся раньше над женою матроса. Толстый мучной торговец, забрав в рот окладистую бороду, смотрит в стакан с чаем, точно увидев в нём что-то необыкновенное. Какой-то старик из чернорабочих тихонько вытирает слёзы. Даже буфетчик, ко всему равнодушный, кроме наживы, застыл на месте, скосив на матроса маленькие, острые глаза.

Точно не в трактире, а с корабля, переживающего бедствие, волнами раскатывается бас матроса, с тревогой возвещая:

Набок кренит, на борт валит,
Бортом воду забирает...

А подголосок, словно испугавшись, что предстоит неминуемая гибель, отчаянно рыдает:

Братцы! ой, забирае-ет...

Необычный, красивый мотив песни, исполняемой с большой страстностью, заражает тревогой весь трактир. И чем дальше поют, тем страшнее развёртывается картина бури, готовой разнести корабль. Вот уже:

Белые паруса рвутся,
У матросов слёзы льются...

— Не могу больше,— оборвав песню, неожиданно заявляет матрос, вытирая потное лицо.— Силушки нет.

Певцов наперебой благодарят, хвалят, а пучеглазый купец со слезами на глазах целует их в губы, говоря растроганно:

— Спасибо!.. Отродясь такой не слыхал, песни-то!.. Душа будто от скверны очистилась.

Матрос что-то отвечает, но в шуме голосов его уже не слышно. Он укладывает гармонику в футляр. Поблёкший, с потухшими глазами, поддерживаемый женою, он едва пробирается через толпу к выходу и, выбрасывая в сторону трясущиеся ноги, тихо выходит на улицу.

А на дворе дождь, мелкий, осенний, надоедливый. Бросаясь из стороны в сторону, колышется пламя фонарей, слабо освещая мокрые, угрюмые дома. Дует ветер, тонко подпевая в телеграфных проводах. Не разбирая дороги, опираясь на жену и костыль, молча идёт матрос, немного хмельной, усталый, с одной лишь мыслью об отдыхе в холодном и сыром подвале.